



Михаил Ярцев

На последнюю пятерочку

Михаил Ярцев. Родился в 1953 году в Ленинграде. Петербуржец в четвертом поколении. Окончил ЛГУ, кандидат физико-математических наук по специальности «Океанология». Участник семи высокоширотных экспедиций к обоим полюсам Земли. Занимался издательским и страховым бизнесом. В последние годы нашел себя в качестве переводчика и литератора. Роман Михаила Ярцева «Лжец и отщепенец» номинировался на премию «Большая Книга» в 2016 году.

...Конечно, во всем был виноват этот идиот-шофер! Надо же так умудриться — сдавая задним ходом, и при этом не глядя ни в камеры, ни в зеркала, он зацепил новехоньким, два месяца как из салона, «Лексусом» какое-то глупое малобюджетное корытце, которое назвать автомобилем, а не самодвижущейся повозкой, можно было лишь по большому недоразумению. Раздался легкий скрежет, из проезжавшей мимо VIP-стоянки машины выскочила перезрелая молодящаяся тетка и с ходу заголосила...

Шофер ударил по тормозам, но было уже поздно. Водитель вылетел кубарем — но, нисколько не тушуясь, с ходу начал гнуть пальцы и вести себя нагло и уверенно, как и положено человеку из дорогого авто, стремясь «утихомирить» свою жертву, переложив вину «с больной головы на здоровую»:

— Ну, куда ты прешь, выдра? Как считаться теперь будем?! У меня крыло дороже всей твоей лоханки...

Его потуги мгновенного действия не возымели, гражданка за рулем оказалась тертой. Она забаррикадировалась в своей коробчонке, и покидать убежище до приезда гаишников вовсе не собиралась. Все предложения шофера разъехаться полюбовно, которые тот, срывая голос и отчаянно жестикулируя, пытался донести до нее через поднятые стекла, она игнорировала, и хваталась то за телефон, то за сумочку, демонстративно вытаскивая из нее баллончик перцового аэрозоля, то снова за телефон...

Наконец, оставив бесплодные попытки мирных переговоров, водитель, этот наглый разбитной малый, попытался тем же тоном, которым он урезонивал пострадавшую тетку, объясниться и с Астаховым (видимо, запал дорожной свары еще не выветрился):

— Пал Сергеич! Пал Сергеич! Какие проблемы! На машинку же КАСКО действует... Ща с этой дурой разберусь — и в один миг домчимся до дома. А будет время завтра-послезавтра, совещание там у вас или что — вы только скажите, я на заправочку смотаюсь, к ларю с песком задок притру, ГАИ вызову, все будет жуки-пуки, все в ажуре... На станции — три дня: день подкрасить, день сохнуть, день полирнуть с марафетом, а фонарик — ваще дело плевое! Только скажите!

Астахов тоже вылез из прохлады салона, и тут же ощутил, как немилосердно палило заходящее солнце, еще не успевшее скрыться за крышами близлежащих домов. Он отвернулся и сплюнул, всем своим видом показывая, что не намерен вести беседу в предложенном тоне и на сомнительную тему. Не зная, что предпринять дальше, он задумался, подытоживая уходящий день. У Астахова он не задался с самого утра, а дорожное происшествие лишь встроилось в череду неудач, как подходящая фигура в хитрой головоломке, призванной расширять пространственное воображение у детишек с задержкой развития.

Началось с того, что ранним утром — он еще допивал кофе, без крепчайшей порции которого уже не мог войти в новый день — раздался телефонный звонок. Звонок по его личному номеру, зарегистрированному три года назад на какую-то неведомую Астахову гражданку пенсионного возраста, очень вовремя потерявшую паспорт. Этот канал связи с Астаховым, предназначенный для обсуждения щекотливых вопросов, знал всего полтора десятка проверенных лиц, и использовался он редко, только по серьезным поводам. Звонил верный человек из Москвы, чтобы предупредить о надвигающейся в самом обозримом будущем на структуру Астахова проверке.

Проверок как таковых Астахов не очень боялся. Он за время своей работы «на ниве альтернативной экономики», как говаривал сам в кругу немногочисленных оставшихся друзей, — да даже не друзей (понятие это постепенно исчезло из его жизни), а так, близких партнеров, чьи интересы в какие-то моменты так или иначе совпадали с астаховскими, — перевидал их великое множество.

На первых порах крепко выручал тесть — земля ему пухом, мощный был мужик, знакомства, связи, все было, — а потом и сам Астахов достаточно взматерел, да и какие-то контакты покойного не растерял, а лишь «расширил и углубил», как говаривал когда-то, путаясь в ударениях, человек, по недоразумению вставший у руля огромной страны. Что поде-

лать, жизнь такая: рука руку моет, а обе — лицо... Вдобавок чего-чего, а осмотрительности у Астахова хватало с избытком. Он никогда не пускался в авантюры, в результате которых «ослиные уши» в документообороте торчали долгие годы, дожидаясь, если повезет, истечения срока давности. Ослом, ослепленным близкими и легкими деньгами, он никогда не был — и это выручало. Однако Астахов прекрасно понимал, что все построенные им конструкции — всего лишь замки на песке, которые может разрушить легчайший толчок от неосторожно брошенного слова или сомнительного дела. Критерии этой самой «сомнительности» менялись по три раза на дню, в угоду конъюнктуре, складывавшейся где-то там, в заоблачных верхах. На том поле, которое ему пришлось пахать, собирая по мере сил в житницы зерно, даже очень трудолюбивого пахаря, святее Папы Римского, могли в одночасье лишиться всего заработанного тяжким трудом или законопатить в кутузку. Или даже совместить «и то, и другое без всякого хлеба», как Винни-Пух — мед со сгущенным молоком...

Шаткость сложившегося status quo Астахов понимал лучше многих, и поэтому известие о том, что его деятельность вдруг стала предметом изучения одного из самых неприятных для любого нормального человека ведомств, оптимизма не прибавляло. Что бы ни происходило — Астахов по-прежнему считал себя нормальным, хотя само понятие «норма» в последнее время размылось до безобразия. Но шевелиться все равно было необходимо, ведь, что ни говори — день обычный, рабочий сам по себе дерьмом не станет...

Неприятности продолжились в офисе, где он часа полтора изучал докладную записку аналитического отдела, в который однажды сам набрал толковых грамотных ребят, заслуживших свои неплохо оплачиваемые места не родственными узами с членами правления, а реальным напряжением мозговых извилин и отсутствием стремления лакировать действительность в надежде на бонусные выплаты. Перспективы в свете последних событий в городе, стране и мире выглядели мрачно, обороты падали тринадцатый месяц подряд, и конца-краю этому падению аналитики не видели. Поездка в банк, на которую Астахов очень рассчитывал, обернулась противной случайностью дорожной аварии, да и сами переговоры катастрофически не задались. Казалось бы, на первый взгляд несложная встреча с акционерами банка непредвиденно затянулась. А в переговорной — мыслимое ли это дело в банке категории «AAA»? — сломался кондиционер, одарив присутствующих на бесплодных четырехчасовых посиделках тяжелой грузной духотой. Эта шайка толстопузых мошенников, мнящих себя финансистами большой руки и зажавшихся на обслуживании счетов одного весьма уважаемого фонда, так обставила выдачу банковской гарантии на новый астаховский проект (который, как он креп-

ко надеялся, мог переломить ситуацию большим количеством привходящих условий), что впору было думать не о развитии фирмы, а о спасении души. Хитрые самодовольные рожи банкиров только подчеркивали отсутствие у них интереса к астаховским проектам, а масляные улыбки не намекали — кричали, что этот «интерес» вполне способен появиться при определенных условиях. Конечно, никто из них не ждал заветного портфельчика или аккуратной картонки — времена были совсем другие. Век упаковок из-под ксерокопировальных аппаратов, набитых «черным налом», прошел, но способов сделать что-то хорошее хорошим людям за полезную услугу несколько иными методами существовало предостаточно, и Астахов их прекрасно знал. Однако, памятуя утреннее сообщение об интересе к его фирме, он понимал, что такой разворот дела, может быть, и сносный в других условиях, сегодня не оптимален. Убеждать же их иными методами, идти с мошенниками на прямую конфронтацию, а тем более — угрожать, в чем Астахов был великий мастер, было бесполезно, ибо эта банда в любой момент могла отчитаться где надо и где не надо о каждом своем миллионе, исключая первые пятьдесят...

Ни о чем не договорившись и толком не попрощавшись, он покинул чертоги разбойничьей пещеры Али-Бабы, так и не услышав заветного «Сезам!». А тут еще вдобавок такая засада! Как в глупой шансонной импровизации ресторанных лабухов его молодости: «Здравствуйте, гости! Ах, не надо, ах, бросьте...»

Он уныло постоял около замерших в самых неудобных позициях автомобилей, уже собиравших небольшой затор. Спокойно, не обращая внимания на собравшихся зевак, докурил сигарету, отрывисто буркнул шоферу: «Разбирайся сам! Чтобы завтра с утра у моих ворот в восемь пятнадцать стоял, как штык!» Сцедил слюну сквозь сжатые зубы, сплюнул, развернулся и зашагал прочь.

...Перспектива вызвать Uber, а потом трястись по пробкам в ушатанной таратайке, застревая на каждом перекрестке, вместо того, чтобы, развалившись в прохладе на заднем сиденье представительского монстра, распугивающего законопослушных участников дорожного движения в машинах поскромнее, слушать саксофон Фаусто Папетти или какое-нибудь дарк-кабаре типа «Tiger lilly» (музыкальные пристрастия Астахова были весьма своеобразны), его не манила... Он решил прогуляться, благо нужный вокзал был недалеко, и спокойно собраться с мыслями. Двинулся вперед по неширокой улице, в своем окончании упирающейся в Неву и залитой низким вечерним светом со стороны реки. Он, давно расставшийся с привычкой считаться с мнением окружающего плебса, не обращал внимания на удивленные взгляды прохожих, пораженных его дичайшим внешним видом. Темный деловой костюм, дизайнерский галстук и

штиблеты, который годились только для того, чтобы шаркать по напольным покрытиям высоких кабинетов, напряленные в невыносимую жару и духоту, заставляли сомневаться в адекватности их обладателя.

Астахов был выше этого, ему не было дела до реакции толпы, но все равно собраться с мыслями, обдумать стратегию, размеренно печатая шаги, спокойно расставить все происходящее по нужным полкам, отделить главное от несущественного, не получалось. Мысли прыгали, гудели в голове растревоженным ульем, сбиваясь в осязаемые, почти живые, темные клубки, из которых вылетало то одно, то другое насекомое и больно жалило Астахова, покалывая прямо под черепной коробкой...

«Чертов водила! Полгода работы, всего ничего, рекомендация была неплохая, — скромно, язык за зубами, баранку крутит, как Джейсон Стейтем — и влез без всякого мыла в друзья...» Этот малый месяц-другой был тише воды, ниже травы, вежлив и пунктуален, благоухая невероятным парфюмом, острую горечь которого Астахов поначалу отказывался воспринимать, считая, в силу издержек воспитания, лучшим мужским ароматом запах хорошо вымытого тела. С Мариной услужлив до подобострастия, постоянно сопровождал ее в спа-салоны и к косметологам в те дни, когда Астахов сутками безвылазно пропадал в офисе, и особой работы с ним не было. Интеллигентно просил-предупреждал: «А может я, Пал Сергеевич, пока вы в запаре, с Мариной Никитичной скатаюсь? Одно колесо здесь, другое — там...» — делал попытки шутить. Можно подумать, что Марина в своих странствиях по пластическим врачам и фитнес-центрам передвигалась на маршрутках — в гараже стоял, поблескивая лакированными крыльями, Range Rover цвета яичного желтка, который он подарил ей на юбилей свадьбы. Кстати, подарок этот был воспринят даже не как должное, а с изрядной долей сарказма, который был в Мариной крови «с молодых ногтей». Она довольно сухо заметила, что Васильев — их сосед слева — подарил супруге Porsche, не дожидаясь никаких круглых дат. Астахов тогда чудом сдержался, чтобы не ляпнуть, что соседская жена, по его информации, на двадцать восемь лет моложе своего супруга, и иных способов добиваться ее благосклонности у Васильева попросту нет.

Вдобавок за рулем Марина сидеть не любила. Она сама не то чтобы водитель была никакой, — нет, газ с тормозом не путала, — но считала, что личный шофер добавляет ей веса в глазах немногочисленных подруг и позволяет считаться ровней другим томящимся от безделья дамочкам «ее круга». А последние недели Астахов стал замечать, что при взглядах на Марину у его Санчо Панса в глазах стали проскакивать веселые искорки. С хорошо сыгранной наивностью он все чаще кидал на Марину восхищенные взоры, а Марина при таких встречах начинала вытягивать шею, одновременно потупив глаза долу. Со стороны это выглядело забав-

но: дебелая дама не первой, да и не второй молодости — и низкорослый вертлявый жиголо, даже не младший брат, а, скорее, сын... «У Льва Толстого в "Войне и мире" было что-то подобное про "галоп кокетства". Надо бы на досуге перечитать, если время позволит...»

Что там у них происходило в его отсутствие, Астахов в голову не брал, ему было абсолютно наплевать на смену декораций, она его не ранила, даже не задевала... Нет, их брак не стал простой и пустой формальностью, но с годами все более напоминал ритуал, похожий на обязательную программу в фигурном катании прошлого, когда спортсмены без всякого музыкального аккомпанеента чертили на льду заданные фигуры, а придирчивые судьи с циркулями и прочим измерительным инструментом определяли их соответствие канону, выставляя оценки. С точки зрения арбитров, их с Мариной исполнение было безукоризненным, но любого стороннего наблюдателя, равно как и главных действующих лиц, эти раз и навсегда установленные механические движения приводили в состояние вялого и плохо скрытого равнодушия.

А произвольную программу Астахов с Мариной исполняли уже по собственному разумению, причем ее, вместо изящно подобранных мелодий, сопровождала какофония новостного ряда последних лет со взрывами, катастрофами, скандалами, разоблачениями, кошмарами, организацией каких-то немислимых штабов, центров и комиссий, реформами, потерями, ниспровержениями, кликушествами телепророков и войной всех против всех. Он пытался ограничить себя одной экономикой, чтобы не портить свое и так далеко не самое лучшее настроение, ставшее нормой каждого следующего дня, понапрасну. Марина, напротив, ориентировалась в этом бедламе превосходно, обозначая по каждому поводу свою позицию в редких обсуждениях происходящего за семейным столом. Астахова это раздражало еще больше, чем собственно сами события. Он с вскипающей от Марининых сентенций злобой отмечал про себя, что очень удобно декларировать свой нонконформизм, и особенно — бороться за женское равноправие, не работая последние лет пятнадцать, а лишь командуя горничными и садовниками из сорокаметрового холла их загородного дома...

Конечно, можно было избрать иную стезю, как поступили многие его знакомые. Они все с некоторого времени стали называться общо и неконкретно — «партнеры», потому что иного родства и близости, кроме сиюминутных бизнес-интересов у них не было, да и быть не могло. Эти самые «партнеры» по новой пережились на своих секретаршах, пресс-помощницах, ловких стриптизершах и сметливых адвокатессах. Но этот путь, поначалу воспринимавшийся как линия наименьшего сопротивления, на поверку оказывался до боли похож на бесконечное кольцо гонок

«Формулы-1», когда, после прогревочного круга первого брака, следовали вторые-третьи-четвертые витки, жадно сжигающие, словно топливо в баке болида, финансовые ресурсы незадачливого гонщика.

Астахов, с ранней юности привыкший смотреть на вещи, может быть, даже слишком реалистично, нежели это было необходимо, считал вольные упражнения на тему «жениТЬбы» напрасной тратой времени, денег и нервов. На самом деле, в этом вопросе все проблемы решались не просто, а очень просто: если уж очень приспичит, всегда можно набрать номер и, куда скажешь-закажешь, придут такие особи, что по сравнению с ними Ева Грин покажется комической простушкой, а Эмбер Херд — плохо ухоженной пэтэушницей. Да и выйдет это баловство в тысячу раз дешевле очередного венчания в храме Христа Спасителя.

...От хитрого обормота-водителя и коллег по цеху сознание полностью переключилось на жену. Тут уже из роя рассерженных представителей отряда перепончатокрылых, оккупировавших его мозг, вылетела не пчела, а целый шершень. Астахов недоумевал, как и, главное, когда в меру вздорная и избалованная родителями и общим вниманием красивая девочка превратилась в несколько неопрятную, несмотря на все туалеты и ухищрения, женщину, пораженную целлюлитом, с отечным лицом, которому уже не помогали никакие инъекции и притирания. Да и бог бы с ним, с лицом — мудрая пословица гласит, что «с лица воду не пить», сам Астахов за совместно прожитые годы тоже не помолодел, — но куда делись неизъяснимое очарование Марины, пришептывающий щебет, легкость мысли и движения, весь шарм первых лет отношений, он понять не мог.

Он не расстраивался оттого, что куда-то подевались длинные, чуть загнутые на концах, ресницы, что круглая очаровательная мордашка исчезла, а вместо нее на него по утрам смотрела маска, скрывавшая тяжело забитые косметикой лоб и щеки, что не помогали ни экзотические диеты и «золотое шитье», ни ежегодные турне по теплым пляжам или норвежским фьордам, ни поездка в Тибет в поисках «просветления»... Много хуже было другое: им просто в один не совсем прекрасный день стало не о чем говорить друг с другом... Последняя общая тема — дочь — исчезла, когда их единственное чадо отбыло продолжать образование на берега Темзы (Нева, по ее собственному выражению, «была слишком полноводной»)...

Астаховские попытки выяснить, как и почему это произошло, когда взаимный интерес стал угасать, как теряется в ночи скрежет колес уходящего за поворот ночного трамвая, успехом не увенчались... А когда пропал и сам интерес к прояснению этого обстоятельства, Астахов понял, что произошедшие перемены, как и принятые законы, обратной силы не имеют... Их можно только единожды отменить волевым усилием, а Астахов, как и большинство его современников, был поражен самой страшной

болезнью двадцать первого века — нет, не синдромом приобретенного иммунодефицита, а синдромом приобретенного дефицита воли.

Так, размышляя уже о своей планиде, он добрел до вокзальной площади...

В кассовом зале начались первые мелкие накладки и неприятности: автомат по продаже билетов отказался воспринимать его платиновую карту Visa, эмитированную Bank of Surgus, очевидно, считая офшорный рай не существующим в природе Эльдорадо. Деньги для Астахова уже несколько лет как превратились в удобное подручное средство, и в своей частной жизни он их особо не пересчитывал, справедливо полагая, что краеугольным камнем, на котором зиждилось его финансовое благополучие, является холдинг со всеми сателлитами и управляющими компаниями, в котором он владел блокирующим пакетом бумаг. Наличными — равно как и электричками — Астахов не пользовался уже лет пять, наличным оборотом в семье ведала Марина, расплачиваясь с сезонниками и прислужгой. Хорошо еще, что в дальнем отделении портмоне завалился сбербанковский пластик, который ему пришлось получить, оформляя налоговый вычет после покупки квартиры дочке (родительский подарок к окончанию школы). Не оставлять же за здорово живешь двести шестьдесят шесть тысяч государству, тем более, как подсказали ему его бухгалтеры, добросовестно отработывая свою зарплату, возможность вернуть эту сумму была абсолютно законна, что явилось для него небольшой, но приятной неожиданностью. Он привык, что государство лишь забирает, втягивает все — деньги, жизни, здоровье, души — в себя, как мощный пылесос... а тут — на тебе!

Кое-как «обилетившись», Астахов прошел на перрон. Действительность оказалась даже хуже самых скромных ожиданий. Первоначально захватившая его идея путешествия, подобного исходу графа Толстого из Ясной Поляны, нравилась ему все меньше и меньше. Выяснилось, что спокойно покурить перед отправлением поезда не удастся. Зал и фойе вокзала там и сям были украшены табличками на двух языках, и даже добавочными пиктограммами — видимо, для неграмотных, извещавшими о полном запрете этого действия на всей станции, вкуче с прилегающими территориями. Мрачные амбалы с палками-«демократизаторами» неспешно прогуливались взад-вперед, зорко высматривали асоциальный элемент и, очевидно, обеспечивали, по мнению администрации, должный порядок. Черная суконная форма этих легионеров со странными шевронами и знаками различия чуть ли не воспламенялась от прямых солнечных лучей, не добавляя им комфорта, от чего их лица были особенно злы. Пару раз они продефилировали мимо Астахова, очевидно, определяя своим не очень долгим умом, откуда взялся сей странный пассажир.

Наконец, Астахов, решив не искушать судьбу, юркнул в вагон. Последние годы он старался минимизировать свои столкновения с окружающей средой вне привычного ареала обитания, включавшего секретарш, помощников, шоферов, консультантов, охранников и юристов, твердо зная, что во внешнем мире легко может стать жертвой любого скверного казуса — от спровоцированной приставанием уличной проститутки драки до внезапно обнаруженного в кармане пакета «дури»...

Вагон, в который погрузился Астахов, был прокален солнцем и давным-давно не убирался. На полу между топчанами валялись какие-то фантики, обмусоленные палочки от мороженого, обрывки бесплатных газет, мятые бумажные стаканчики из-под кофе, а может, и не из-под кофе. Он брезгливо провел пальцем по скамейке и опустился на место около окна, лицом к движению. Приятно удивляла лишь немногочисленность вагонного люда. Путников было мало, несмотря на то, что рабочий день закончился не так давно. Три-четыре группки пенсионеров, коренастые, придавленные работой тетки с детишками, инвалид с палкой, компания юнцов, по счастью расположившаяся в другом конце вагона, да на лавке напротив — дядька средних лет в несвежей футболке цветов родного с детства футбольного клуба. Он, вспоминая свои прежние путешествия, был уверен, что народа в вагон, тем более в час пик, набьется немало. Однако едва состав тронулся, после бессвязной и плохо различимой тарбарщины, оглушившей Астахова из ближайшего динамика, свободных сидячих мест в вагоне оказалось с избытком.

Загремели сцепки, застучали на стыках колеса, и состав начал медленно набирать ход. По мере того, как движение пригородного поезда становилось стремительней, начало испаряться и раздражение. Астахов отвлекся от дурных воспоминаний и принялся анализировать «феномен малолюдности». Выделил три возможные основные причины. Первая — автомобилизация тех, кто мог себе позволить хотя бы кредитную машину. Вторая — «маршрутизация»: все-таки теперь эти колесные повозки останавливались у каждого столба, а не только у редких станций, от которых жаждающему раньше пришлось бы пилить пехом до конечного пункта назначения час-полтора. Ну, и в третьих — многим согражданам уже поздно метаться, надо сидеть безвылазно на одном месте. В один конец до конечной от города остановки — двести сорок рублей, туда-назад, считай, полтысячи, если же путешествовать двадцать дней в месяц — десятка тысяч... а эта десятка, считай, вся пенсия... Следовательно, из огорода, от кабачков и картошки, оторваться можно считанные разы...

Не успел Астахов порадоваться своим аналитическим способностям, как двойная дверь на входе в вагон распахнулась, плохо смазанные ролики завизжали, и с порога закричала толстая неопрятная коробейница

с двумя баулами наперевес. Громким немзыкальным голосом она скороговоркой перечисляла свои сокровища, обладателем которых мог стать каждый, заплатив рублей сто-сто пятьдесят: «А вот кому, граждане, носочки, следочки, указочки лазерные, монеточки сувенирные, юбилейные...» И речитативом следовало перечисление одноразовой китайской дряни, апогеем предложения которой был почти настоящий Rolex за триста рублей.

Немногочисленная публика в вагоне хранила гордое молчание. Продавщица, помедлив малое время, прошла по вагону. Сосед напротив в круглых очках на резиночке, которые он водрузил на нос, пытается лучше рассмотреть Астахова, а точнее, его наряд и перстень на среднем пальце левой руки, купил, побрякивая мелочью, какой-то журнальчик со сканвордами и углубился в его изучение. Астахов снова отвернулся к окну.

Не успела захлопнуться выходная дверь за продавщицей, как на входе появились два мужичка с лотком мороженого, пересыпанного сухим льдом, и противнями с подозрительными пирожками. У них торговля сложилась удачнее: мамаша с детьми, сидевшая в конце вагона, купила своим чадам по лакомству в вафельном стаканчике, а себе — подобие эскимо из астаховского детства, а группа подростков в давно нестиранных ветровках набросилась на пирожки, как на закуску к припасенному заранее пиву...

Не успели скрыться за окном городские многоэтажки, как перед астаховским взором возник третий разносчик. Астахов про себя удивился — показалось, что в поезде торговцев, которые наверняка предпочитали, чтобы их называли представителями «малого бизнеса», было несколько больше, нежели рядовых пассажиров. И только после Удельной в вагоне наступила долгожданная тишина. Он привалил затылок к жесткой облицовке вагонной стенки и, закрыв глаза, попытался если и не заснуть, то хотя бы подремать, благо до Молодежного было пилить еще больше часа...

Астахову почти удалось отключиться, когда характерный взвизг дверных роликов вывел его из состояния почти достигнутого умиротворения. «Кто-то зашел, кто-то вышел...», — не успел подумать он, рефлекторно отмахиваясь от помехи, как вдруг за своей спиной услышал сильный женский голос, который, без объявлений и прелюдий, заполнил затхлое пространство вагона плавным напевом из знаменитого голливудского блокбастера, в финале которого не могла сдержать слез вся женская половина зрительного зала:

You are safe in my heart
And my heart will go on and on...

Неизвестная исполнительница, очевидно, во всю мощь легких четко и строго, без всякого аккомпанеента, полагаясь лишь только на свое мастерство, вела довольно сложную мелодию песни, повествующей о любви, безбрежной, как океан, и вечной, как само время. Немного резал астаховское ухо лишь собственно английский. Все эти «gare», «fear» и «heart» звучали исконно по-русски, с твердым раскатистым рычащим «эр», к которому не так давно в своей прочувствованной речи, транслировавшейся по всему миру, приучил россиянин министр спорта, став всеобщим посмешищем на всех континентах и затмив на некоторое время других клоунов.

— Стакан-лимон, Селин Дион, — пробормотал его сосед напротив. — Селин Дион, выйди вон!

Астахов, пробуждаясь из нирваны, как двухмесячный щенок, встряхнул головой, и вышел из сумрака. Обернулся, опершись подбородком на высокую спинку лавки, и — глаза в глаза — столкнулся со взглядом певицы. Он заметил, что она тут же выделила его из более-менее равнодушной толпы многочисленных слушателей. Не в силах оторваться, он смотрел, и видел только серо-зеленые глаза, а весь облик высокой подтянутой немолодой женщины с прямой спиной и достойной для актрисы такого жанра посадкой головы остался как бы за кадром. Он не мог рассмотреть ее внимательней, хотя, наверное, по-своему она была хороша, в простом летнем сарафане, не скрывавшем тронутые загаром плечи, как может быть хороша женщина старше сорока пяти, которой с генетикой повезло несколько больше, чем многим сверстницам. Все внимание Астахова без остатка забирал этот взгляд, выворачивая наизнанку. Вот певица запнулась на полуслове, еще раз прожгла Астахова двумя серо-зелеными скрещенными лучами, прикрыла глаза, и тут же, сменив ритм и мотив — для пения а капелла это было несложно, — продолжила гораздо тише и печальнее:

А на последнюю, да на пятерочку
 Найму я тройку лошадей.
 И дам я кучеру на водочку:
 Эх, погоняй, брат, поскорей!

Тело Астахова свело судорогой, во всем мире остались лишь этот голос и этот взгляд. Он сидел вполборота к исполнительнице, но знал, пряча глаза и не выдерживая этой безумной игры «в гляделки», что эти строчки адресованы только ему:

Я вам скажу один секрет —
 Кого люблю, того здесь нет...

...Песня оборвалась также внезапно, как и началась. Певица, гордо вышагивая, еще выше закинула голову, будто боясь расплескать содержимое в невидимом сосуде, который удерживала на макушке, и быстро двинулась вперед по вагону, не остановившись у астаховского купе. Она не протягивала руки, но Астахов, провожая ее взглядом, заметил, как какая-то сердобольная бабенка и подросток побойчей из пивной команды засунули ее в неплотно сжатые кулаки по бумажке. Астахову оплатить необыкновенный концерт было нечем: наивно было бы рассчитывать, что побирушка, избравшая столь необычный способ сбора милостыни, носит с собой платежный терминал.

Выходные двери захлопнулись, и в этот момент поезд начал притормаживать перед очередной остановкой. Пассажир напротив Астахова чуть не свернул себе шею, провожая взглядом певицу. Потом опомнился, отряхнулся и обратился к Астахову:

— Сам я в городе работаю, двое через двое, а живу в Алексеевской. Пару раз в месяц с этой музыкой езжу. Она всегда про «Титаник» поет, ну, еще иногда из «Генералов песчаных карьеров», а вот по-русски — первый раз слышу... Душевно исполнила. Да и сама, — незнакомец напротив чуть подмигнул Астахову, — пока при делах. На любителя, конечно, но хороша еще старушка. Вполне себе ...абельная бабенка...

Заметив, что Астахов пропустил мат мимо ушей, осмелел и продолжил:

— К ней тут бывало, сам видел, если ближе к ночи, клинья подбивали, и не только ханыги, но и солидник, те, кому за город, а приняли на грудь, и на машине — никак... «Давай, — говорят, — милая, сойдем на дальней станции!» Она — ни в какую: «За песни, если хотите, заплатите, и деньгу я возьму, а что другое — так это не ко мне. Это вам, господа хорошие, на трассу или в Прибрежный в вокзальный сквер, — там этого добра видимо-невидимо: и рост, и цвет, и возраст на любой выбор...» Слушай, командир, я видел, как она на тебя смотрела, попробуй...

Говоривший осекся, увидев застывшее лицо Астахова, и тут же сменил «ты» на «вы»:

— Я и говорю — попробуйте, чем черт не шутит...

Но Астахов уже не слушал его. Он снова привалился головой к обшивке вагона, и у него перед глазами медленно закрутился старый фильм, сплошь в склейках и дефектах звуковой дорожки: то цветной, то черно-белый, с чередой общих планов и крупно выхваченных стоп-кадров, как будто неведомый поклонник киношного архауса этой эклектичной стилистикой пытался подчеркнуть что-то очень важное. Сосед напротив еще что-то говорил, а Астахов вновь пересматривал ленту, в которой он одновременно был и актером, и режиссером, и автором сценария...

...Тогда, давным-давно, в ином измерении, в другом пространстве отношений, когда астаховскую гриву волос еще не тронула ранняя седина, было так же жарко — синоптики утверждали, что подобная погода парализует город не чаще, чем раз в тридцать-сорок лет. Была сессия, кажется, третий... нет, конечно, весенняя сессия после четвертого курса...

За два дня до первого экзамена Астахов сидел с Мариной в «Санта-Доминго». С виду это была обыкновенная забегаловка без названия, одна из тех, что открывались в те годы на каждом углу. Строгий ряд столовых и ресторанов, в которых борщ, рассольник и гуляш подразумевались само собой, перебивался невообразимыми кафетериями, гриль-барами, коктейль-холлами. В них — ура! — можно было не есть, а только сидеть и пить. Понятия «буфет» и «закусочная» стали в своей общепитовской области дремучими архаизмами, как комод — в современной домашней обстановке.

Внутри у маленьких овальных столов стояли чурбаки без спинок, за стойкой, на низкой подставке, в горячем песке млели металлические сосудики с кофе — не стаканы мутно-серой вокзальной бурды, а напиток цвета ваксы и с намеком на аромат. Стойка была великолепно декорирована, поражала глаз десятиклассника или сопливенького студентика младших курсов обилием этикеток. Да каких! Бутылки, разумеется, были пустые, но — вид!

Бармен в галстук-бабочке, придававшим ему сходство с каким-то экзотическим насекомым, не переставал улыбаться — то ли был доволен собой, то ли созданным антуражем... Астахов понял значительно позже, что улыбка при любых обстоятельствах — защитная стенка, миновать которую может лишь лихой крученный удар.

«Махаон» за стойкой не любил отпускать спиртное в фабричной упаковке. По вполне понятной причине ему значительно больше нравилось смешивать коктейли. Но Астахову уступил. Играл в игру — свои клиенты, свой микроколлектив...

С бутылкой «Токайского» и одной чашкой кофе Астахов отошел от стойки — денег он дал «впритык», да и сдачу с круглого рубля требовать было не принято, свои ведь люди!

— Ты кофе не будешь? — спросила Марина. Все эти счета-расчеты ей были невдомек.

— Не хочу. Утром дома перепил, — соврал Астахов.

...За дальним столом четверо завсегдаев играли в кости. Очевидно, в ожидании более серьезных дел. Был белый день...

Марина сделала два глотка, скривила губы и сказала:

— Хочу со льдом.

Только ей могла прийти в голову такая блажь — «Токай» со льдом!

— И немного льда, — вернувшись к стойке, вежливо попросил Астахов.

— Пожалуйста! — бармен улыбнулся еще шире. Что такое лед — вода, водопроводная вода в ином агрегатном состоянии. Не жалко — зато фирма... Лед и прочие аксессуары не отпускались разве что совсем огольцам или крепко перебравшим.

— Ну и как? — поинтересовался он у Марины.

— И соломинку...

Астахов немного рассердился:

— Марина, ты знаешь такую старую историю? Начало — традицинал: лежат двое в постели. Она ему говорит: «Дорогой, хочу шампанского...» Он вскакивает — несет. Она снова: «И кофе, любимый». Он — несет. «И еще фруктов...» Он безропотно идет и тащит. Спрашивает: «Все, милая?» Она мечтательно потягивается и говорит: «Теперь бы только еще и мужика...»

Она спокойно допила бокал и просто сказала:

— А мужика звать не надо... У меня есть...

Астахов сперва опешил, не понял.

У них за прошедший год было почти все, но — почти. Может, от этого «почти» Астахов нервничал. Дальше — больше, временами вел себя глупо и по-детски, чем, понятно, не улучшал отношения. Ссорился и дулся на Марину, которая с удовольствием фиксировала чужие взгляды на своих коленках — по длине юбочек, их-то и юбками было не назвать, на факультете, где все носили мини, она была рекордсменкой. Но и без всяких юбок она удалась на славу. Фигурой — в мать, крупную, ровную холеную женщину, а характером — в отца: как и он, не терпящая отказов, временами надменно-снисходительная. Астахов знал, что ее отец занимает какой-то крупный пост в очень серьезной организации, которую по старой памяти всуе поминать было не принято (об этом можно было догадаться, лишь бегло ознакомившись с Мариниными туалетами), но видел его один или два раза, хотя последние месяцы бывал у них дома достаточно часто. Тот был постоянно занят. Запомнились почему-то сигареты «Филипп Моррис», которыми он угостил Астахова на ходу, накидывая шинель и поспешая к ожидавшей внизу машине...

Любил он тогда? Да... Переживал? Несомненно... И, самое главное, никак у него не вытанцовывались такие отношения с Мариной, когда бы он мог диктовать свою волю. С кратковременными подружками по спортивным сборам это ему удавалось превосходно: встречались — разбегались, благо спортсменки, ноги длинные... А с ней — нет. Заходил он и с другого конца: пару раз в лоб звал ее замуж, собственно, он и не мыслил жизни без нее. Она смеялась, целовала его, но находила сто тысяч причин

для отказа: «А где мы будем жить?», «Надо закончить образование...» Основной лейтмотив можно было выразить в двух словах:

— Давай повременим...

«Повременили», — подумал Астахов и машинально переспросил:

— Что?

— Есть, говорю, мужик!

Она улыбнулась, улыбнулась вся: губами, глазами... просто засветилась...

— Интересно, кто же он? — Астахов не думал, что ему ответят, спрашивал автоматически, как чревовещает «мама» дорогая кукла — только при опрокидывании. Его опрокинули тоже. — Я его знаю?

— Конечно... — она приподнялась и взяла сумочку, собираясь уходить.

— Поймай! — Астахов продержал ее. — Так он...

— Терский, — просто ответила она. — Не хочу, чтобы до тебя эта новость дошла из третьих рук. Он к нам приходил, делал мне крепления для лыж — ты ведь не умеешь, да и мама тебя поздно гулять не отпускает...

— Какие лыжи, Марина? Опомнись, что ты несешь, на дворе май... Ты, какие-то лыжи, Терский...

— Ну, не лыжи! Какой ты, Астахов, глупый! Я люблю его...

...Глагол этот был у них запрещен к употреблению. «Чтобы не стирались понятия», — так настояла Марина...

— Не держи меня! Спасибо за вино и кофе! — и она исчезла за дверью. Завсегдатаи почмокали ей вслед...

...Астахов знал Терского, но так — здоровались через раз. Терский был Терский — похожие, наверняка похожие, были в любом вузе. Чему и как он учился — не интересовало никого. На институтских вечерах его выход объявляли в конце программы. Он выходил в черном свитере с дорогой концертной гитарой наперевес. Сладко визжали девчонки в первых рядах. Себя подать он умел. Отлично подражал входившему в большую моду хриплому, чуть надорванному голосу. Но исполнял и чужое, и свое. Он вообще успевал многое. Писал рассказы-эссе для институтской стенгазеты, без начала и конца, ни о чем и обо всем. Говорили, что у него готов, уже ходит по редакциям сборник стихов, — вот-вот тиснут. Летом заправлял стройотрядами.

...Астахов, нутром чувствуя в Терском опасного конкурента, как-то, в большой тайне, стесняясь признаться даже самому себе — не хотелось, крутило, ломало — навел подробные справки. Очень осторожно и неназойливо, как будто его это не касалось вовсе. Выяснил, что тот с двенадцати лет попал в Суворовское училище — оно по традиции дало ему французский язык и первый разряд по боксу, а главное, привычку и характер. Дать отпор, взять свое, не забивать голову глупостями и... Бравый бы вы-

шел офицер, однако дальше Терского армейская среда не привлекла. Но стал он настоящим мужчиной в полном смысле этого слова. На два года постарше однокурсников, на десяток лет побогаче, умудреннее жизненным опытом. Кумир институтских дур, предмет тайных и явных страстей публики поумнее. Пел:

Так повелось промеж людьми,
Люди стесняются любви,
А ведь она
Почти равна
Смерти-и-и!
Я ем и пью,
Я слез не лью,
Но я люблю ее,
Люблю...
Верьте-е-е-е!

Верили. А любви он не стеснялся — это был его досуг. И немало девиц, сидящих в зале на его концертах, принимали эти слова на свой счет...

Собственно, в Терском Астахова раздражало все. И развинченная шаткая походка боксера в открытой стойке, настороженного и всегда готового как к удару, так и к мгновенному ответу. И низкий бархатный голос, то набирающий силу, то переходящий на шепот и хрип. И скрытая сила, и кажущаяся простота молодого, но уже умудренного жизнью человека, которому не нужно разводить какие-то там антимионии чистого разума, чтобы добиться своего. Злили Астахова и постоянный, непреходящий успех у девок, и счастливая игра в карты, и рано приобретенный начальнический тон в товарищеском общении, и эти полублатные короткие ремарки: «он мне по жизни должен»... Но больше всего бесило это самое «промеж», а слышать его приходилось постоянно: на бис Терский всегда исполнял свою коронную песню.

«Нет такого в русском языке — "промеж"! — заводил себя Астахов. — "Между" есть, а "промеж" — нет! "Промеж" — это, считай, промежность... Лучше бы этот менестрель хренов исполнил что-то вроде: "Не заменит нежность мне твою промежность"...»

Слушая Терского, он обязательно злобствовал про себя, беззвучно шевеля губами. Но противопоставить «достоинствам» Терского что-то реальное, кроме тщательно скрываемых умствований, был не готов.

И еще. Было несколько слов, которые раздражали Астахова безмерно. Причем все на букву «П». Почему происходило именно так, он сам понять не мог.

Первым в ряду стояло слово «побратим». Смотрел даже в словаре Даля, вроде понятие хорошее. «Братание», крестные узы, обмен нательными крестами — все это, конечно, выглядело дико в век научного атеизма, но «имело место быть», как говаривал преподаватель по этой самой дисциплине, которая явно по недоразумению значилась в учебном плане технарей. Ходили на этот самый атеизм, как на концерт солдатской самодеятельности: побалагурить между собой на лекциях либо отоспаться... Да и князь Мышкин с Рогожинным крестами менялись, стало быть, побратимы, мать спектакль смотрела в БДТ, рассказывала, как хорош был Ефим Захарович, жаль, что Смоктуновский в Москву подался, «Идиота» играть стало некому, и спектакль сняли с репертуара. Самому Астахову действо повидать не удалось, мал был. А сейчас другое поветрие — все на «Историю лошади» ломаются, вроде бы и не особо дорого — в партер билет полтора рубля, а ты достань эти билеты!

Но врзалось в мозг в самом негативном смысле это сочетание слогов: «по-бра-тим», и ничего с собой Астахов поделать уже не мог...

Второе слово — «питомец». «Я — Земля, я своих провожаю питомцев», — пели по радио, — эпоха освоения космоса уже закончилась, но песни о ней еще появлялись. Он злобно передразнивал: «Я своих провожаю японцев. "Питомцы" — из какого питомника — служебного собаководства? Птичника-инкубатора?» Питомцы для него все были на одно здоровое тупое лицо, шагавшие строем в неведомую никому даль грядущего светлого будущего. Здесь, конечно, сказывалась мода переделывать и переписывать несущиеся и стократно тиражируемые из всех углов и репродукторов песни советской эстрады вплоть до самого неприличия. Хит-парад переделок бесценно возглавляла строка: «...смотрю в тебя, как в зеркало, до семязвержения...», опережая ближайшего конкурента «...вот стою, держу весло, через миг кончаю...»

Ну, и венец мучений — это самое «промеж». Считал, хотя прекрасно знал о всякой разной диалектологии и законно присутствующих в живой речи просторечиях, слово просто грязным, недалеко ушедшим от площадной брани.

...Мелькали мысли. Набить морду? Не так-то просто — минимум втроем-четвером (а кто и почему с тобой на это пойдет?), да и Марины этим не вернешь, Астахов в этом был уверен. Убить? Остро отточенным ножом, в ненавистную плоть, как в масло — тоже нет — Марина не Кармен, навык нужен, а его нет, и вряд ли появится, и воспитание не позволит. Переспать с лучшей Мариной подружкой — Иркочкой Богачук? Ирка — деваха без комплексов, как сорока-белобока из сказки: «Этому дала, этому дала и этому дала...» А смысл? Окончательно развязать Марине руки?

Каким-то чудом дошел до дома, не попав под автобус или трамвай. Шлепнулся на диван. Хорошо, никто не приставал с расспросами: мать

была за городом, ковырялась на садовом участке, хорошая работа у фельдшера скорой помощи — сутки дежурство, трое выходных, правда, денег платят катастрофически мало, — а отца у Астахова не было... То есть, конечно, он был, но Астахов ни разу в жизни его не видел.

К вечеру он стал способен пяток минут подумать о другом: послезавтра экзамен, самый темный и противный для Астахова курс, тем более, лекций он посетил, дай бог, половину — Марина, Марина, Марина... Учить? Поздно, даже если со свежей головой — там пятьдесят одна лекция. Идти на арапа? Это было не в астаховских правилах, надо хоть как-то ориентироваться в предмете, а тут — практически полный ноль... Шпоры? Тоже нет. Во-первых, мелко переписать пятьдесят лекций — неделю сидеть день и ночь, во-вторых — они могли быть полезны на любом другом экзамене, кроме этого. Часть лекций читалась по «грифовой» тематике — «для служебного пользования». И хотя там не было и не могло быть никаких особых государственных тайн, а просто разболтанных студизусов приучали к определенному порядку, конспекты велись в отдельных тетрадах, и после окончания лекции и следующей недельной самоподготовки сдавались обратно в спецчасть под расписку. Так что любая шпаргалка формально являлась нарушением общих правил работы с документами и таила в себе обширные и ужасные последствия. Об этом специально предупреждали на консультации. Да и горький опыт предыдущих поколений не рекомендовал пользоваться «специальностями»: два человека были изгнаны за это с кафедры, а отчисление с кафедры автоматически влекло за собой отчисление из института...

«Рискнуть, конечно, можно, но не успеть переписать... А если успеть? Слишком высока ставка... Никто не увидит — это самый реальный шанс, дополнительных вопросов не бывает — преподаватели знают правила не хуже нас... Кто осмелится... А если очень осторожно и очень тихо... Нет, не переписать, не заготовить бумажки, надо придумать иное, хитрое... А если бы они были — пошел бы? Да, пошел... Но их нет, может, это и к лучшему... Перенести на допсессию, просто не пойти?»

Очевидно, неявка — лучший выход: потом уляжется, образуется, устанет. Хотя и говорят, и грозят — не пойти на экзамен хуже некуда, но на деле выходит наоборот: помогают справочки, направления, добрая душа факультетской секретарши... Да и на дополнительных экзаменах к неудачникам относились с некоторой порцией снисхождения. Где «два» — там «уд», а где «уд» — там могли, расщедрившись, поставить и «четыре»...

«Четыре» решило бы все проблемы, кроме одной. Допсессия — значит, без стипендии, а стипендия была Астахову нужна, ой как нужна, нужна очень. Без стипендии вместо легкой, приятной поездки-прогулки с Мариной в Таллинн — прямая дорога в стройотряд, ехать вкалывать на полто-

ра месяца по двенадцать часов за пять-семь сотен. Вкалывать Астахов не боялся, его мучило другое: из этих денег большую часть пришлось бы отдать матери на свое содержание до следующего экзаменационного тура, не потратить их по собственнику усмотрению на стереосистему, а остатки просидеть с Мариной в каком-нибудь кабаке пошикарнее. В стройотряд Астахов бы двинул так и так, но опять же — ехать с хвостом, с вечно дурным настроением, прихватив с собой учебники, пытаться сидеть над ними вечерами, когда весь остальной народ будет отдыхать и разлагаться сообразно своим возможностям, взглядам и привычкам... Нет!

«А Марина поедет в Таллинн без тебя...» Тогда уж точно все. Почему-то именно это он представил особенно отчетливо.

Следующий час об экзаменах не думал. Сидел, смолит сигареты «Теннисон», купленные за полтора рубля у фарцовщика «на галере», которыми хотел, но не успел, похвастать тогда, в кафе, перед Мариной. Включил телевизор, но только когда дикторша улыбнулась в последний раз, и экран вспыхнул и засветился молочно-белым светом, выкристаллизовалась основная идея — сдать, во что бы то ни стало сдать! Он даже произнес вслух. Развязать себе руки, доказать, что не раскис... Кому? Да себе же, себе!

Разглядывал зачетку — и уже видел в нужной графе темно-фиолетовую строку «хорошо», число и подпись. Шепталась, била мысль: «Не вернуть, не помочь...» И голос, другой, твердый и спокойный: «Будет все, брось, даже если будет иначе, то к лучшему, только сейчас взойди, делай, рви!» И когда мял в потных пальцах пустую уже коробку сигарет, замысел созрел окончательно, в мельчайших деталях и по минутам, ярко и рельефно, как будто выхваченный светом фары-искателя.

Порылся в записной книжке и набрал номер телефона:

— Будьте добры, попросите к телефону Сашу Кузина, — на другом конце провода недовольно вздохнули. — Извините, что так поздно, но он, наверное, занимается? — поправился Астахов, смекнув причину неудовольствия.

— Саша! Тебя... — мимо трубки вдалеке раздался неласковый женский голос.

— Я слушаю...

— Кузен, это ты?

— А кому же еще быть. Это кто — Стах, что ли?

— Я, я... — заторопился Астахов. — Слушай, у меня завал... Какживает твоя оптика? Негативы там, никоны, хассельблады?

— Хороший ты парень, Стах, но долго живешь... Чего это тебя в полпервого ночи на фотографию потянуло — девочек, что ли, полный дом назвал?

— Не валяй дурака. Звоню потому, что боялся тебя завтра не застать. Только ты можешь мне помочь...

...Весь следующий день ушел на беготню. С утра раннего вымалывал на один-единственный день полный конспект, клялся и божился, что не потеряет, обещал вихрь удовольствий в будущем, словом, ползал на коленях перед гордостью курса, флегматично-инфантильным Петровым — их группа сдавала этот предмет через семь дней. Потом к Кузину. Потом за фотобумагой и неведомым ему фиксажем — в фотоделе он был полный профан. Вдобавок сначала привез что-то не то, пришлось снова ехать на край света, куда-то на Народную... Дышал в затылок Сашки Кузина в жаркой темной комнате, торопил и не к месту раздражал его...

Только к шести вечера пошла продукция. Включили воду в ванной и засыпали ее проявленными листами, которые хранили премудрость, неведомую Астахову.

— Надо хорошенько прополоскать! — громогласно объявил Кузин.

Астахов в который раз мысленно послал к черту его профессиональные привычки, съедавшие кучу времени. Когда уникальный комплект-справочник просох, и Астахов решил, что вот он — конец мучений, выяснилось, что их надо гладить. Пачка гнутых, завернутых во все стороны листов разбухла до чудовищных размеров и не влезла бы не то что в карман, а в портфель средних размеров. Смачивал и разглаживал бесценные листочки Астахов уже один, на кухне, вызывая плохо скрытый гнев кузинской мамы, которую раздражало присутствие постороннего на ее кухне с ее уюгом. В половине десятого вечера Астахов откланялся:

— Родина тебя не забудет, Кузен! — похлопал его по плечу. — Какой коньяк завтра предпочтешь: «Двин» или «Варцихе»?

...Сделал большой крюк — завез вконец истерзавшемуся Петрову, который и над обычным конспектом трясся, как скупой рыцарь над сундуками, тетради. Дурацки схохмил, когда Петров моментально, как будто под ней сидел, открыл дверь:

— Старичок, я одну часть потерял в автобусе, но, если что, помогу переписать... — наслаждался петровской бледностью. — Шуткую, шуткую, паря... Получи и распишись... Страницы пересчитай!

О Марине не думал, временами прорывалась — на остановке, в трясском автобусе, — жгучая, как ожог, как лезвие «Золингена» — опасной бритвы, оставшейся от деда — тоска, но ее глушило дело. Так зубную боль снимает предельное физическое напряжение...

Пришел домой, поставил будильник на восемь и бухнулся на диван, еле успев стянуть джинсы.

— ...Ваш билет?

— Номер два! — счастливо улыбнулся Астахов. Ему-то, конечно, было все равно: два или пятьдесят восемь, уровень его знаний был потрясающе ровен, без малейших толчков и выбросов. Но улыбался он не напрасно — просто в кармане легче было отсчитать второй прямоугольник, нежели, к примеру, мусолить в пальцах матово-шершавые карточки, рискуя ошибиться на крупном счете.

Экзаменатор тоже улыбнулся — он по былым студенческим временам понимал Астахова, билеты обычно учат с начала, с первого номера, — но, конечно, не знал истинную причину его радости. Астахов огляделся. Кроме старшего преподавателя, за угловым столом расположился его помощник по кличке «Шеф ошибок не прощает» — в ней была голая истина.

— Если без подготовки, то оцениваю на полбалла выше.

Астахов мотнул головой, продемонстрировав серьезность.

— Тогда берите альбом схем и идите, готовьтесь. Туда, пожалуйста!

«Средненько, — думал он о предложенной дислокации с точки зрения "сдувалы", хотя раньше не списывал, но зато часто видел, как это делается. — По диагонали от центра — плохо, четвертый ряд — ничего, прорвемся...»

Он рассчитал свой заход так, чтобы все три первых ряда оказались занятыми — помог искусственный хвостист Белоус, пихнувший его в аудиторию, как инструктор парашютного спорта кидает новичка в открытый люк, в самый подходящий момент.

Все шло как по маслу. «Не нервничать, посидеть три минутки, подумать, легализоваться...» — решил Астахов.

Открыт альбом схем, начал сосредоточенно искать нужные страницы. На уровне «чего и куда» он, как ни странно, в вопросах ориентировался — что-то слышал краем уха — у Астахова была отличная память.

В альбоме было шестьдесят девять листов. Шестьдесят девять «слепых» — без указаний номиналов и марок комплектующих деталей — схем, каждая из которых почти равна схеме телевизора. Ни пояснительных записей, ни функциональных блоков. Астахову вроде бы попались вопросы из листов шесть и тридцать четыре. Он точно в этом был не уверен, но смекал, что рядом — схемы, слава богу, были расположены в порядке систем, а не вразбивку.

Аккуратным почерком в углу серо-желтого листа с бледным лиловым штампом «экзаменационная комиссия» вывел свою фамилию и номер группы, — в полном соответствии с правилами. Уткнулся в чистый лист, подпер правой рукой голову, взял в зубы шариковую ручку и принял вид размышляющего. Лектор, занятый сразу двумя студентами из параллельной группы и выяснявший в ходе перекрестного допроса границу их знаний, особой опасности, по мнению Астахова, не представлял. «Человек нау-

ки...» — подумал он о нем не без сарказма. Зато «Шеф ошибок не прощает» сидел как-то нервно, беспокойно, казалось, не слушал своего подопечного, а по-волчьи — Астахову именно так почудилось — из-под бровей, чуть сворачивая голову набок, косил на затихшие склоненные головы.

Рука Астахова сама собой скользнула в большой внутренний карман, пришитый к подкладке пиджака сегодняшним ранним утром — последний штришок в подготовке к экзамену. Раз, два — и как ящерица с оборванным хвостом скрывается в расселины камней, лист фотобумаги вонзился в середину альбома. Половина дела сделано — он шумно, даже слишком, вздохнул, как будто нашел верный, долго не сходявшийся ответ. Движение его вряд ли заметили не то что преподаватели, но и соседи, поглощенные каждый своим. Астахов выждал несколько секунд и успокоенно начал переворачивать страницы, делая вид, что ищет нужные дополнительные сведения. С удовлетворением обнаружил «пособие» между тридцать шестым и тридцать седьмым листами. Тасуя страницы с озабоченным видом ищущего человека, начал переносить на бумагу — сжато, с сокращениями, основными цифрами и параметрами, самое основное, как и принято при подготовке к хорошо знакомому курсу, а не переписывая слово в слово, что сделал бы уж совсем болван, — содержимое заготовленного «пособия».

Второй вопрос подходил к концу. «...Третий каскад выполнен на двойном лучевом тетраде...» — вписал он сбоку и обвел жирной рамочкой — как вспомнил главное. Закрыв альбом: дать себе отдых, оставалась суцая ерунда. Можно было бы и убрать источник от греха подальше. Чувствовал, как подмышками текут ручейки пота. Оглядеться... Он поднял глаза и увидел, что «Шеф ошибок не прощает» покинул насиженное место и идет по их проходу. Астахов напустил на себя самый беспечный вид. «Шеф» остановился перед соседом справа, наклонился к нему, что-то тихо спросил, а потом, обернувшись к Астахову, ошарашил его:

— Вы готовы?

— Вообще говоря, пяток минут... — оторопел Астахов.

— Написали вы много. Альбом, я вижу, вам больше не нужен, — оценил обстановку на астаховском столе «шеф». — Дайте его сюда...

Астахов имел представление о покере, знал, что такое «блеф» — мелкими ставками не блефуют — учили его аксакалы этой недавно появившейся в институте игры — и прямо глядя в глаза «шефу», предупредил его жест и протянул ему альбом.

— Пожалуйста... Что-нибудь забыли? — спросил как можно невиннее — может обидеться за бестактность и сразу потащит отвечать.

Но тот, неторопливо, словно любуясь, начал переключать страницы, начал искать что-то в астаховском альбоме, хранившем на странице

тридцать семь сюрприз. Что? Издевался над ним тогда «шеф», было ли это спектаклем, ожидал он добровольного признания, явки с повинной — или случай? Астахов до сих пор не мог сообразить, почему «шеф» приметил именно его... То ли слишком часто порхали листы? Но ведь вопросы в билетах были разные, в том числе и обзорные... То ли Астахов выдал сам себя своим видом и вздохами заговорщика? Может быть, в то время владеть собой, своим лицом, чувствами он еще не научился — это пришло позже. А может фатальность, рок, высшая справедливость настигла?

Астахов оцепенел, сжался, считая про себя: «...шесть... девять»...

«Интересно, тридцать семь — чисто простое или нет? — он почему-то в эти секунды начал делить тридцать семь на восемнадцать. — ...Двадцать четыре... тридцать... Страница, слипнись!» — заклинал он, как малыш на елке еле лепечет: «Елочка, зажгись!», — наивно веруя в чудо, а не в мастерство электрика...

«Тридцать семь!» «Шеф» остановился.

— Вот как, — сказал-спросил он ровным тоном. — А вы вроде фотографировать подучились? Разрешите ваш билет... Могу вас поздравить, вы списывали правильно, — Астахову показалось, что его голос загремел на всю аудиторию.

Рядом повернулись головы. Последнее, что Астахов заметил — это хитрягу Белоуса, который, пользуясь общим замешательством, быстро-быстро начал строчить что-то на бумаге, откуда он сдувал — бог его знает, но сдувал профессионально, не в пример астаховской любительщине.

Разборы Астахов помнил плохо, в эти минуты, он, как говорят боксеры, «поплыл»... Мычал что-то нечленораздельное, бледнел, вспыхивал, то била мелкая дрожь, то умирал от духоты...

Через полчаса в кабинете завкафедрой он нашел в себе силы спросить:

— Так что, мне забирать документы?

— Вероятно, — ответил ему седой старик, жесткий и холодный, как замерзшие руки. — Года через два-три — отслужите, кое-что поймете — сможете подать заявление о восстановлении. Но с формулировкой о нарушении экзаменационных правил вас вряд ли восстановят...

— А может, академический отпуск? — Астахов спросил как можно жалобнее.

— Я — против категорически... Но вы ведь знаете — вопрос о вас будет решать ректорат, я только подам соответствующие документы, — Астахов ни минуты не сомневался в их содержании, — да и по вам не скажешь, что у вас сердечная недостаточность... вот недостаточность честности действительно имеет место... Тут возникает еще один серьезный вопрос — вопрос о негативах этих копий, — он пощелкал ногтем по захваченной бумаге. — Надеюсь, вы их принесете?

— Я их сжег, — ответил Астахов: один влетел, один и расхлебывай.

...Он вышел из кабинета, зная все. Все пути-дороги. Все пошло прахом, кувыркком, рухнуло, докатилось в придорожную канаву, вот тебе «Двин» вот тебе «Варцихе»...

...Ему, ему сегодняшнему — вдруг снова стало страшно. Страшно и горько в этом душном вагоне. Он, как вновь, пережил те минуты. Откуда-то сверху, как тяжелые капли, упали те самые слова:

— Дайте ваш альбом схем! — и шелест страниц под холеными пальцами.

На всю жизнь запомнил эти пальцы, аккуратно подстриженные ногти, белые-белые фаланги, поросшие редкими черными волосами. Вылетает глянцевый лист фотобумаги... Фотопомощь — двадцатый век — не от руки писано школярским почерком...

И схватило сердце. Острой болью, мгновенным спазмом, который отпустил не сразу, а лишь пробив тело липким горячим потом...

...Как смог пережить, как вынести?

Окончание следует...